

А.А. Митрофанов

**«ПОЛИТИЧЕСКАЯ АНТРОПОЛОГИЯ»
ФРАНЦУЗСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ ХАИМА БУРСТИНА:
о возможности исторического анализа
революционного активизма**

В статье анализируется новая книга известного франко-итальянского историка Хаима Бурстина, который исследовал, как мелкие предприниматели, обыватели, представители парижских низов становились активными участниками Французской революции. Автор рецензии подробно рассматривает, как Бурстин изучал биографии активистов, заимствуя терминологию у социологии, психологии, медицины и даже изобретая специальный термин «протагонизм». Особое внимание Бурстин уделял феноменам широкого народного протеста в Париже с июля 1789 по май 1795 гг., «эксцессам» кровавого насилия в ходе восстаний и желанию революционных элит скорейшим образом завершить Революцию. Автор рецензии показывает, что итальянский историк был вынужден прибегнуть к созданию новой терминологии, чтобы, сформировав искусственные конструкции, искусственно объединить в рамках общих понятий и ловких политических карьеристов, и политически неграмотных людей из толпы, но при этом оставляя вне поля зрения два таких важных события, как сентябрьские убийства 1792 г. в Париже и восстание 13 вандемьера, не вписывающиеся в его концепцию.

Ключевые слова: Французская революция, Х. Бурстин, бунт, восстание, экстремизм, протагонизм, Друэ, Майяр, Меда, Паллуа

В сентябре 2013 г. вниманию научного сообщества было представлено вышедшее в парижском издательстве «Вандемьер» исследование «Революционеры: к политической антропологии Французской революции», принадлежащее перу известного итальянского историка и специалиста по истории Французской революции XVIII в. Хаима Бурстина¹.

Андрей Александрович Митрофанов, кандидат исторических наук, научный сотрудник Института всеобщей истории РАН.

Статья подготовлена при поддержке Российского научного фонда, грант № 14-18-01116.

¹ Основные его работы см.: *Burstin H. Le faubourg Saint-Marcel à l'époque révolutionnaire: structure économique et composition sociale.* P., 1983; *Idem. La politica alla prova. Appunti sulla rivoluzione francese.* Milano, 1989; *Idem. Rivoluzione Francese. La forza delle idee e la forza delle cose.* Milano, 1990; *Idem. Une révolution à l'oeuvre: le faubourg Saint-Marcel (1789–1794).* Seyssel, 2005; *Idem. L'invention du sans-culotte. Regard sur Paris révolutionnaire.* P., 2005.

Хронологически книга охватывает не весь период революционного десятилетия, а только первые годы: с 1789-го по 1795-й, что автор объясняет динамикой и эволюцией протестных движений. Кроме того, Бурстин ограничивается только Парижем, где и разворачивались важнейшие протестные движения. На протяжении четырех с половиной сотен страниц читателю предлагается анализ происходившего на парижских улицах и площадях в дни восстаний и переворотов, а также реконструкция того, как обычные люди становились революционерами, однажды вступив в публичное поле политики и изо всех сил стараясь удержаться в его границах.

Автора интересует, прежде всего, личный опыт участия «простых людей» в политике и роль, которую этот опыт сыграл в формировании индивидуальной идентичности того или иного революционера: «Я надеюсь показать, – замечает Бурстин, – что конкретный опыт пережитого людьми, принимавшими участие в революции, не является однозначно маргинальным опытом, как не является побочной или второстепенной деталью феномена [Революции. – *А.М.*], а, напротив, это – элемент основополагающий для понимания его подлинной природы. Я убежден, что революционный механизм совсем не является неизбежным стечением сложных обстоятельств... В то же время это и не спонтанная последовательность элементов. На мой взгляд, речь идет о некоей совокупности, где разные и несходные друг с другом элементы, оказались под давлением известных обстоятельств и выстраивались в единую последовательность, которая, между тем, не была изначально предопределенной» (Р. 414).

Структура книги выглядит классически. Три ее главы основаны на разных принципах. Первая – «Переосмыслить Французскую революцию» – посвящена постановке общих проблем и раскрывает особую авторскую «антропологическую» терминологию. Вторая – «Совершать Революцию» – охватывает эпизоды-события, выстроенные в хронологической последовательности: от 14 июля 1789 г. до 20 мая 1795 г. Третья – «Заканчивать Революцию» – посвящена обобщающим выводам автора о закономерностях развития патриотического дискурса, риторики и революционной идеологии в целом. Раздел за разделом Бурстин анализирует составляющие элементы феномена необыкновенной политической активности.

Монография переполнена терминологией из научных словарей психолога и антрополога, что несколько усложняет восприятие текста, но именно это делает ее весьма необычной. Ключевым для понимания концепции исследования Бурстина является изобретенный им неологизм «революционный протагонизм», под которым он понимает гражданский активизм, наблюдавшийся в 1789–1793 гг. и проявлявшийся в массовом стремлении к участию в политической жизни тех людей, которые прежде

не имели никакого отношения к государственному управлению и политике. Хотя автор и признает, что этот термин несколько нарушает правила французского языка, он активно им пользуется (Р. 155). Среди революционных «протагонистов» у Бурстина оказываются и Ж.-Л. Давид, и жандарм Меда, и предприниматель Паллуа, малоизвестные участники штурма Бастилии, а также герой Варенна Друэ. «Протагонизм» предстает в работе Бурстина как действующая сила необычайного размаха, в основе которой лежало активное участие граждан в новых политических практиках: штурме Бастилии, походе на Версаль, череде восстаний, работе в первичных собраниях, секциях. Благодаря феномену «протагонизма», по мнению ученого, создавались невиданные прежде условия для драматизации повседневности и питательная среда для расцвета различных проявлений радикализма и даже экстремизма.

В начальный период Революции, когда наблюдался ползучий крах институтов Старого порядка, проблема относительного отсутствия политического руководства решалась благодаря появлению в политике случайных активистов. На первый план выходили личности, выполнявшие функции вождей или посредников между протестующими толпами и властями. Среди них автор выделяет «победителя Бастилии» С. Майяра, который возглавил поход женщин на Версаль и тем самым на время обуздал ярость толпы, хотя и не смог помешать избиению королевских гвардейцев. Два других примера – Л. Лекуантр, ставший подполковником Национальной гвардии, и Г. Бабеф, сменивший ремесло февдиста на публицистику, – показывают, что получение политических дивидендов было связано с отказом от деловой карьеры и разрывом с основной профессией. Возврат в нормальную жизнь для людей, окунувшихся в Революцию, был практически невозможным.

В канун похода на Версаль, в сентябре и начале октября 1789 г., социальный кризис усилился за счет кризиса политического, вакуума власти и кризиса репрезентативности, что повышало роль уличных активистов и толкало массы к радикализму. Эти условия благоприятствовали личной инициативе и различным импровизациям, новые горизонтальные сети солидарности охватывали все городское пространство. В общественной сфере систематическими стали грубое нарушение закона, легитимизация насилия, нарушение политических табу, карнавализация протеста, десакрализация объектов и институтов. При этом сама схема восстания с устойчивыми ролями, отныне многократно повторялась. И хотя радикализация революционного процесса, вела к насильственному исключению из него лидеров, прославившихся на предыдущих этапах, выработанные ими принципы становились устойчивой парадигмой нового типа поведения (Р. 217).

Особенное внимание уделено в книге экстремистам, участвовавшим в уличных акциях с отсечением голов жертвам народного гнева. Эта специфическая разновидность экстремизма, систематические проявления которого сопровождалась декларациями о патриотизме, создавала новую культурную среду. Проявления экстремизма в период Революции были весьма разнообразны, но данный тип поведения автор считает политизацией архаического ритуала (Р. 317). В качестве примера приводится случай с пьяным поваром Дено, который, поддавшись чувству «патриотизма», убил и отсек голову коменданту Бастилии Делонэ. Дено и позднее был замешан в самых кровавых эпизодах революции. По мнению автора, экстремизм Дено и ему подобных – это и следствие своеобразного раздвоения личности и проявления базовых рефлексов, которые не подлежат политическому анализу и экстраполяции на поведение прочих революционеров. В подтверждение своих гипотез автор напоминает, что современники вовсе не усматривали логики в поведении толпы, как о том принято было позднее писать в классических исторических трудах, но старались вычленять действия отдельных индивидуумов (Р. 322). По мнению Бурстина, появление «отсекателей голов» – это именно тот феномен, в котором архаические формы жестокости дополнялись новым политическим радикализмом, и новейшей динамикой народного бунта. Заметим, что данные выводы сделаны ученым без привлечения источников по истории коллективного протеста в провинции и потому автор не говорит о том, насколько типичными или атипичными были случаи самосуда для бунтующей Франции в 1789–1799 гг.

Ритуал со стихийным обезглавливанием с последующим шествием и демонстрацией кровавых «трофеев», также связан с вопросом о театрализации грядущего террора. После того, как самосуды стали объектом народной уличной театрализации, на коллективное воображаемое смогло эффективно подействовать только такое средство институционального насилия как гильотина (Р. 325–326). Еще одним важным фактором частоты проявлений массового экстремизма, служила позиция властей, т. к. длительное время борьба элит с проявлениями народного насилия была малоэффективна, экстремизм масс ею концептуально не отвергался, лишь повергался превентивной критике в политических речах. Уделяя особое внимание насилию толпы и экстремистов, Бурстин оговаривает, что ранние примеры этого кровавого феномена, относящиеся к 1789–1791 гг., не представляли собой политическую «лабораторию» Террора; институциональное насилие времен якобинской диктатуры – это результат множества факторов, в том числе, это и результат утраты ее предводителями контакта с реальностью (Р. 411).

Стремясь показать, как формировалась парадигма личного участия в Революции, Бурстин, прежде всего, обратился к источникам 1789–1791 гг., подчеркивая, что более поздний период, когда, как показал Собыль, наблюдалось снижение интереса обычных граждан к политике и ослабевал общественный консенсус, его интересует в меньшей степени (Р. 416). Особое внимание историк уделяет тем многочисленным лидерам революционного протеста, которые вынуждены были играть эту роль поневоле или же играли ее сознательно, но не располагали необходимым политическим опытом. Автор отмечает, что хотя сюжеты, относящиеся к 1793–1794 гг., представлены в его исследовании в меньшей степени, они могут и должны стать предметом более глубокого изучения.

На основе сравнительного анализа десятков схожих биографий и автобиографий второстепенных участников революции Бурстин делает важные обобщения. Так, он замечает, что гипотетические последствия своего активного участия в восстаниях и переворотах осознавало ничтожное меньшинство из числа новоявленных революционеров, а вот момент личной славы и мгновенное создание репутации «из ничего» привлекали многих. Простейшим способом влиться в число активистов для представителей социальных низов оставалось участие в одном из *jours*. Анализу опыта участия в восстаниях Бурстин посвящает целый параграф (Р. 220–263), где изучает дискурсивные практики и автобиографические нарративы нового типа. Как он полагает, несмотря на жестокость уличных активистов, в 1789–1794 гг. их преступления оценивались по искаженным критериям: если действия индивидуума вписывались в коллективную динамику, то доказать их криминальный характер становилось очень трудно, сама атмосфера легитимировала крайности толпы, непозволительные в иное время (Р. 318).

Далеко не каждый революционер мог рассчитывать на общенациональную известность и признание своих заслуг. Как следует из исследования Х.Бурстина, в этом отношении реальное значение поступков индивидуумов имело меньшее значение, чем их интерпретация в чрезвычайных обстоятельствах. А она всецело зависела от воли лидеров соперничающих «фракций», преследовавших сугубо прагматические цели, или от сиюминутного консенсуса. Благоприятные условия для новых политических карьер возникали постоянно, Например, в момент бегства королевской семьи в Варенн в июне 1791 г. и последовавшего за этим политического кризиса. Бегство короля радикально изменило как минимум две политические биографии: самого Людовика XVI и неизвестного до тех пор Ж.-Б. Друэ. Казус Варенна продемонстрировал, что путь к славе открыт для всех способных быстро реагировать на события и тем самым созда-

вать себе положительную политическую репутацию (Р. 329). Успех зависел от личных талантов, природной харизмы и скорости реакции на происходящее. Так, большинство из участников Вареннской драмы, в отличие от Друэ, не добились никакой славы или вовсе трагически закончили свои дни. Предприниматели, старавшиеся зафиксировать завоеванную репутацию, превращали прославление Революции в доходный бизнес. Созданию новых карьер способствовали и политики, которые старались компенсировать упадок патриотизма, вызванный бегством короля, путем официального прославления героев Варенна. Автор показывает, как революционеры искусственно старались придать незначительным поступкам частных лиц общенациональную известность, в то время как публицисты создавали новую версию патриотизма, для которого фигура короля перестала служить символическим центром. Включение никому неизвестных обывателей в «малый Пантеон случайных героев» должно было стимулировать энтузиазм и ослабевшие патриотические чувства граждан (Р. 336)¹.

Следующий поворотный момент в истории Революции, переворот 9 термидора, также был отмечен официальной героизацией дотоле неизвестного персонажа. По мнению Бурстина, после переворота термидорианское большинство Конвента использовало уже известный прием. Именно поэтому жандарм Ш.А.Меда, участвовавший в штурме Ратуши и ранивший Робеспьера, получил большую известность². Этот эпизод усилиями термидорианцев и самого Меда приобрел общенациональный масштаб. Конвент стремился подчеркнуть заслуги «верного солдата республики» и доказать широкое участие народных масс в перевороте, а Меда оказался всего-навсего нужным человеком в нужном месте, который благодаря этому смог создать себе репутацию и извлечь карьерную выгоду из своей неожиданной славы (Р. 356).

Последний эпизод неконтролируемого народного насилия, к которому обращается Бурстин, относится ко времени восстания 1 прериала III года Республики (20 мая 1795 г.), которое, по мнению Бурстина, было последним парижским восстанием эпохи Революции (Р. 361). Центральное место в рассказе о событиях прериала у Бурстина занимает рассуждение об убийстве депутата Ферро. Восставший народ вновь отбросил

¹ Другой пример малоуспешного революционного активизма – действия национальных гвардейцев, которые оказались в числе защитников Людовика XVI во дворце Тюильри во время восстания 20 июня 1792 г. Имена этих храбрых людей, защищавших короля и его семью, на протяжении долгих лет, вплоть до реставрации, оставались малоизвестны, поскольку после свержения монархии в августе 1792 г. их слава и репутация моментально девальвировались.

² Отметим, сам Х. Бурстин склонен полагать, что Робеспьер пытался совершить самоубийство.

цивилизованные способы поведения, что неизбежно повлекло за собой и возврат к зловещим практикам из древнего арсенала насилия, а «санкюлот вновь уступил место анонимному индивидууму из толпы»¹. В этой связи Бурстин приводит случай с двумя юными барабанщиками, которые хвастались своей ролью в убийстве и издевательствами над телом Ферро, значительно преувеличив масштаб своего участия в этом акте кровавого насилия. По мнению автора, то был характерный результат республиканского воспитания тех лет, ибо в глазах молодежи, привыкшей к насилию, такой тип поведения был сродни настоящему патриотическому подвигу. Вместе с тем юноши не отдавали себе отчет в том, что в новой политической обстановке их действия уже вовсе не подвиг, а анахронизм, который власти расценят как преступление (Р. 364). К сожалению, автор не касается вандемьерского восстания в Париже, которое и стало, на самом деле, последним проявлением широкой политической активности народных низов в период Революции. Возможно, это объясняется отсутствием ярких примеров кровавого экстремизма со стороны восставших против Конвента и его декретов «о двух третях»².

Другая важная проблема, которой уделяет внимание автор, – это возникновение абсентеизма. Он отмечает, что увеличение числа различных ассамблей (первичных собраний, народных обществ, парижских секций) способствовало чрезмерной политизации общества, а мощное перевозбуждение 1789 г. привело к усталости граждан от политики. В таких условиях радикально настроенные пассионарные личности легко получали контроль над этими центрами формирования общественного мнения. Несмотря на массовый политический энтузиазм парижан, в обществе насчитывалось мало людей, готовых жертвовать своим временем ради политики, нанося тем самым ущерб своей профессиональной деятельности. Радикально настроенное меньшинство (лица свободных профессий, адвокаты, публицисты), напротив, стремилось перехватить инициативу и подавить своих оппонентов внутри собраний выборщиков, народных обществ или секций. Умеренно настроенные граждане, не располагавшие политическим опытом и раз за разом проигрывавшие записным ораторам, оставались молчаливыми участниками процесса или просто покидали стены собраний, уступив трибуны радикальным активистам, которые, хотя и составляли численное меньшинство, но в таких благоприятных

¹ В противопоставлении абстрактного санкюлота анонимному экстремисту из числа восставших можно усмотреть отсылку к более ранним работам самого Бурстина, посвященным парижским санкюлотам, однако в рамках данной монографии автор не расшифровывает свое противопоставление.

² Подробнее см, например: *Guenniffey P. Histoires de la Revolution et de l'Empire*. P., 2011. P. 357; *Бовыкин Д. Ю. 13 вандемьера: кто виноват? // ФЕ 2006. М., 2006. С. 80–129.*

условиях получали полный контроль над низовыми политическими центрами и создавали некое подобие «олигархий» на местах. Иными словами, такая политическая жизнь была лишена механизма саморегулирования, учитывающего интересы всех групп граждан (Р. 89). Эти тенденции Бурстин прослеживает в практике работы собрания выборщиков Парижа, сформированного для избрания в июне 1791 г. депутатов в Законодательное собрание. Он показывает, как в ее недрах сложилось два враждующих центра – клуб Сен-Шапель (объединявший «умеренных») и клуб Епископства (в котором концентрировались «патриоты»). Внутри этих клубов как раз и готовились электоральные стратегии. Раскол обнаружил, что большинство оставалось за умеренными, но при этом они не были способны на драматизацию политического противостояния, и раз за раз проигрывали своим оппонентам, поднимавшим на щит патриотизм и прибегавшим к манипуляциям в ходе выборов (Р. 79). Приемы «патриотов» сводили на нет численное превосходство «умеренных» и подталкивали их к спешному уходу с политической сцены.

В свою очередь, молчаливое участие «умеренных» в деятельности собраний легитимировало и расширяло возможности радикального меньшинства. Роль ярких личностей в политике повышалась и за счет того, что ассамблеи, общества, клубы и секции были очень молодыми институциями и влияние отдельных личностей на их работу оказывалось непропорционально велико (Р. 84–85). Следствием такой «атрофии демократического процесса», по мысли историка, стало принятие Конвентом в сентябре 1793 г. декрета о возмещении убытков бедным парижанам, возникших из-за посещения ими секционных собраний.

Коллективные представления о власти, неотъемлемой частью которых являлись мифы и фобии, также были важным стимулом, подталкивавшим людей к широкому участию в политике. В частности, Бурстин, вслед за Ж. Лефевром, останавливается на навязчивой идее «заговора», спровоцировавшей в начальный период Революции атмосферу коллективного страха. Для рядовых граждан миф о «заговоре» объяснял доступным их воображению способом возникавшие жизненные трудности, а для политических группировок этот миф стал инструментом, необходимым, чтобы направлять общественное мнение в нужное русло. Коллективная паника по поводу неурожая и голода с 1789 г. имела продолжение в череде воображаемых заговоров, и, как следствие, общество все чаще оказывалось во власти подлинного коллективного психоза (Р. 141). На примере дела Ревельона автор демонстрирует, что отношение к идее заговора коренилось в устойчивых ментальных предпосылках тех или иных социальных групп. Если сторонники Старого порядка объясняли

народный бунт заговором орлеанистов, то третье сословие усматривало в этом провокацию двора с целью парализовать реформы. Иными словами, каждая из сторон попросту возлагала вину на своих противников. Поскольку полярными антитезами к негативным представлениям о «заговоре» и «интриге» являлись гласность и публичность, наделявшиеся позитивными смыслами, общество стремилось защитить себя от одной крайности при помощи другой. Именно поэтому гласность часто находилась в зависимости от чувства коллективного страха перед заговором. Семантическое поле заговора конституировало язык диффамаций, разоблачений, вело к необычайному успеху в политико-юридическом дискурсе таких терминов как «интрига», «интриган», «кабала», «заговор». Революционная власть стремилась восстановить в новом обществе прозрачность и гласность доступными ей способами и избавить его от коллективных фобий, однако идея заговора оказалась настолько укоренена в политической культуре, что от нее не спешили отказываться и термидорианцы, обвинив Робеспьера в желании установить единоличную диктатуру. По мнению Бурстина, нарочитая публичность революционных судебных и квазисудебных процессов имеет истоки именно в этих фобиях. В этом же контексте историк трактует и публичную казнь Людовика XVI. Данный символический акт не только стал знаком окончательного разрыва со Старым порядком, но и давал революционерам двойной результат: физическое уничтожение короля ликвидировало и древний континуитет монархии, который он собой и олицетворял.

Анализ коллективных представлений эпохи требует и обращения к особому революционному дискурсу. По мнению Бурстина, рождение революционной риторики относится к 1791 г., когда и явления частной жизни, и социальные феномены неожиданно начинают реинтерпретироваться при помощи риторических приемов в политическом ключе (Р. 405). Массированное вторжение политики в языковые практики создавало манеру говорить, аргументировать, обуславливало индивидуальную идентичность, подталкивая ее к радикализму. Новый политический жаргон стал характерен для целого поколения, опьянённого свободой, политикой и патриотизмом. В пылу борьбы политические практики подвергались искажению, политика превращалась в средство без реального содержания. Политическая культура, созданная этим типом дискурса, была ориентирована именно на радикализм и органически отвергала возможность какого-либо движения вспять.

Одной из задач, которую поставил Бурстин в рассматриваемой книге, являлась попытка объяснить революционный механизм и его динамику через анализ богатого политического опыта, накопленного за время Рево-

люции¹. К решению этой задачи историк приходит через изучение поведения представителей революционных элит. По его мнению, ответ на вопрос «как Революция, рожденная под благими знаменами, могла полностью выйти из-под контроля ее творцов?» может быть найден с помощью раскрытия феномена радикализма, который подпитывался реальной угрозой, исходившей от антифранцузской коалиции и роялистской эмиграции, а также наличием внутреннего организованного контрреволюционного течения, которое уничтожило идею компромисса между Новым и Старым порядком. Развитие и консолидация широкого фронта оппозиции конституировало в сознании революционных элит опасность, создавало панические настроения и ускорило принятие мер общественной безопасности.

Однако сама мысль о необходимости завершить революцию очень рано приобрела популярность среди представителей элит. Начиная с 1789 г. власти стремились завладеть контролем над политическим пространством и предотвратить дестабилизацию. Под влиянием очередного случая самосуда в октябре 1791 г. законодатели объявляют бунт вне закона. Но охваченные революционным энтузиазмом и вжившиеся в свои политические роли люди воспроизводили эти практики по инерции, все более удаляясь от возврата к нормальному течению вещей. Так, по мнению историка, феномен активизма дестабилизировал все общественные процессы эпохи.

Попытки первого поколения революционеров обуздать активность масс окончились провалом. Первый относительно позитивный опыт на этом пути представляет собой принятый по инициативе Ле Шапелье декрет от мая 1791 г. о запрете коллективных обращений к властям, одобренный под предлогом борьбы с корпорациями. Однако усилия законодателей не привели к сворачиванию активности масс. Победа Горы над Жирондой только обнажила этот вопрос. Декрет от 9 сентября 1793 г. об установлении платы за посещение заседаний секций позволил якобинской диктатуре поставить под контроль эти низовые политические центры столицы. Эта тенденция получила развитие в период Термидорианского Конвента, Директории и Консульства, когда граждане из активных участников политической жизни окончательно превратились в пассивных зрителей.

Оценка, которой историк награждает революционные элиты, весьма сурова. без устали проповедуя о скором окончании Революции, они, сами того не желая, уничтожали условия, способные помешать ее развитию. Различные политические группы прибегали к мобилизации народных масс с целью увеличить собственное влияние в политической борьбе, тем самым снова и снова призывая на сцену актера, которого уже невозможно

¹ В этом Бурстин солидарен с Линн Хант: *Hunt L. Politics, Culture, and Class in the French Revolution*. Berkeley, 1984.

стало выпроводить с нее прочь. Так, широкую мобилизацию масс 14 июля 1789 г. элитам пришлось оплатить знаменитыми декретами, принятыми в «ночь чудес», пожертвовав привилегиями и правами. Точно также и три года спустя, народ, призванный для борьбы с внешней угрозой, отказался покинуть сцену и принял участие в сентябрьских убийствах 1792 г. В этом контексте Символическая и культурная политика монтаньяров рассматривается автором как неожиданно удачная деятельность, направленная на завершение Революции. Бурстин предлагает отказаться от трактовки политики монтаньяров как типичной для всякой тоталитарной государственной машины, управляющей коллективным воображаемым; их меры, по его мнению, служили инструментами сдерживания и, в конечном счете, уничтожения мощного феномена народной политической активности (Р. 390). В этом же контексте автор рассматривает и дискурсивные практики революционеров, с помощью которых они унифицировали и контролировали многочисленные инициативы «снизу», что позволяло Конвенту выступать от имени «всего народа». В этом монтаньяры оказываются подлинными наследниками Ле Шапелье, т.к. основные цели были сформулированы еще в 1791 г.: уменьшить ожидания народа, уничтожить благодатную почву, на которой так быстро расцвел феномен участия широких масс и в политике. Как остроумно замечает по этому поводу автор, «в некотором смысле Робеспьер преуспел в том, в чем потерпел неудачу Ле Шапелье» (Р. 399). При этом для Бурстина не свойственна идеализация монтаньяров. по его мнению, оказавшись лицом к лицу с усложнением внешне- и внутривнутриполитической ситуации, их вожди совершили трагический поворот к абстракциям и совершенно утратили контакт с реальностью. Отказ от анализа реальной ситуации повлек за собой и отказ от учета экономических, социальных, культурных факторов, что делало почти все принимаемые ими меры бесполезными.

* * *

Век больших исторических нарративов давно прошел, но многие дискуссионные проблемы истории Французской революции и по сей день требуют пристального внимания, включая и хорошо известные сюжеты. Труд Хайма Бурстина это очередной раз доказывает. К очевидным достоинствам исследования следует отнести и яркий, образный язык, разительно отличающий его от многочисленных эрудитских сочинений, и попытку построить свою «политическую антропологию» Революции и модифицировать неизменную на протяжении многих десятилетий терминологию. Вместе с тем, концептуальная ясность данной монографии итальянского историка – результат многих десятилетий

его кропотливых трудов (автор посвятил несколько предыдущих исследований анализу деятельности рабочих из парижских предместий). Бурстин отказывается от идеологически детерминированных оценок различных политических групп и анализирует политику фейянов, жирондистов, монтаньяров, скрывая собственные пристрастия, а потому приходит к нехарактерным, например, для левой историографии выводам относительно Робеспьера или Бабефа. Широкий хронологический охват и гигантская база источников вынуждает автора обращаться и к теме политического дискурса, показывая, как политическая терминология проникает в повседневный бытовой язык, завоевывает новые пространства в коллективном воображении. По сути, Бурстин сегодня один из немногих практикующих авторитетных ученых старшего поколения – специалистов по Французской революции, – предлагающих новую историко-антропологическую трактовку целого ряда восстаний, проанализированных при помощи методов микроисторического анализа и изучения коллективной психологии.

Напомним, что автор изначально стремился отступить от традиции апологетики и демонизации революционеров и позволить этим историческим персонажам на страницах книги «действовать самостоятельно». Кроме того, Бурстин отказался от стандартного монографического жанра в пользу исследования-эссе (Р. 12). По нашему мнению, эта нелегкая задача автором успешно решена и суду читателей представлена необычная научная работа, сочетающая глобальные обобщения и микроисторические сюжеты, уделяющая основное внимание главным действующим лицам, или, используя авторскую терминологию, «протагонистам» восстаний и прочих гражданских междоусобиц, то есть малозаметным в мирное время людям из толпы.

Несмотря на все эти достоинства монографии, принадлежащей перу ведущего исследователя истории народного движения в революционные годы, отметим несколько важных моментов. Труд Бурстина не лишен относительно слабых сторон. Прежде всего, речь идет об отсутствии важных сравнительных данных, которые могли бы существенно помочь восприятию реальности революционных лет, особенно в части описания феноменов абсентеизма и народного насилия во время восстаний¹. На наш взгляд, без сравнения парижских данных, каковыми ав-

¹ Историография электоральных процессов обширна, но Бурстин не полемизирует с признанными специалистами в данной теме (*Gueniffey P. Le nombre et la raison: La Révolution française et les élections. Paris, 1993; Gainot B., Aberdam S. Voter, élire pendant la Révolution française, 1789–1799: guide pour la recherche. P., 2006*), ограничиваясь изложением своей точки зрения.

тор оперирует с непревзойденным мастерством, с данными из департаментов невозможно составить верную картину, сопоставить масштабы и частоту экстремистских акций. Поскольку книга сконцентрирована сугубо на парижских источниках, читатель постоянно должен помнить о формах народного протеста в других регионах и чудовищных методах массовых внесудебных расправ, к которым прибегали комиссары Конвента вдали от столицы, а также о вспышках ответного экстремизма со стороны радикальной контрреволюционной оппозиции. Не может остаться незамеченным и фактическое отсутствие в книге Бурстина подробного анализа эпизодов активизма, связанных с сентябрьской резней 1792 г., которая явилась прямым продолжением вспышек народного насилия 1789 г. и отразилась на внушительном количестве политических биографий. Трактовка этих убийств с точки зрения политической антропологии представляется крайне необходимой, в противном случае, концепция Бурстина в известном смысле нуждается в уточнении.

Другое замечание относится к вопросу об использовании автором новоизобретенных терминов. По нашему мнению, термин «протагонизм» применительно к политическим деятелям конца XVIII в. выглядит излишним и недостаточно обоснованным. Во-первых, потому, что он не аутентичен, не известен из исторических источников, во-вторых, потому, что не содержит в себе важной дополнительной информации для историка и для его читателей, не помогает раскрыть мотивы действий активистов (представителей как элит, так и низов), чему уделяет так много внимания Бурстин. Более того, частое использование термина довольно искусственно объединяет людей, принадлежавших к различным социальным стратам, которые начинали политическую карьеру по совершенно разным мотивам и действия которых были детерминированы различным предшествующим социальным опытом. В связи с этим напомним, что среди персонажей, которым Бурстин посвящает небольшие очерки, присутствуют как случайные люди, так и сознательные участники революционных акций. Вследствие этого читатель, вольно или невольно, начинает проводить параллели между откровенными экстремистами и сочувствовавшими им индивидуумами из толпы. При известном допущении, выходит, что выстрел жандарма Меда в Робеспьера, ночное путешествие Друэ, типологически могут иметь нечто общее с внесудебными расправами, отсечением голов невинным жертвам и ношением их на пиках, поскольку все эти действия привели к созданию устойчивых репутаций и даже политических карьер. С нашей точки зрения, здесь есть известная доля лукавства историка: Друэ до Революции служил в драгунских частях в Версале, был хорошо знаком с политической и придворной тематикой, жандарм Меда,

в день штурма парижской Ратуши действовал из карьерных соображений, но вовремя решил придать своему поступку политическую окраску, а оборотистый предприниматель Паллуа как до, так и после разрушения Бастилии занимался строительством, правда, целенаправленно создавая себе еще и политическую репутацию. Все эти лица лишь дополняли, обогащали свой социальный опыт, полученный до начала Революции, и их трудно представить участниками шествий с отрубленными головами. Друг, например, спас обреченную на гибель Шарлотту Корде от разъяренной толпы. (Попутно заметим, что сама Корде по неизвестным нам причинам не включена автором в число «протагонистов».) Мнение Бурстина о том, что активный участник похода женщин в Версаль С. Майяр никогда не пользовался своей популярностью с целью создать себе политическую карьеру (Р. 305), представляется чересчур комплементарным, так как причастность Майяра к сентябрьским убийствам, во время которых он возглавлял импровизированный трибунал в Аббатстве Сен-Жермен, остается неоспоримым фактом, а руководство секретной полицией Комитета общей безопасности говорит само за себя. Совсем иная ситуация складывается при анализе биографий представителей парижских низов. Но, цитируя газеты, автобиографии этих «малых» протагонистов и полицейские протоколы, весьма затруднительно ответить на вопрос о том: осознавали ли вчерашние рабочие, рантье и юные парижане, что своими варварскими акциями они возрождали архаические ритуалы и вторгались в поле «большой политики», как об этом думает автор исследования. На этот вопрос в монографии нет четкого ответа. Между тем варварское отношение народных низов к противнику, в том числе поверженному, в конце XVIII – начале XIX в. не являлось исключительно французским феноменом: Так, например, в ходе войны 1812 г. крестьяне прибегали к жесточайшим формам истребления пленных солдат Великой армии, необъяснимым с помощью обычной логики просвещенной элиты того времени¹. Таким образом, с нашей точки зрения, объединение всех форм революционного активизма под общей дефиницией «протагонизм», представляется недостаточно обоснованным.

Еще одно замечание касается динамики Революции и ее движущих сил. Историко-антропологический новаторский характер исследования совершенно не отменяет принадлежность Бурстина к классическому левому направлению в историографии. Это обстоятельство представляется немаловажным, поскольку оно повлияло на хронологию исследования и отразилось на весьма избирательном отношении Бурстина к различным

¹ См.: Чудинов А.В. С кем воевал русский мужик в 1812 году? Образ врага в массовом сознании // ФЕ 2012. 200-летний юбилей Отечественной войны 1812 года. М., 2012. С. 363–365.

социальным группам, оказавшим влияние на судьбу власти и судьбу Революции. Не вполне ясным остается трактовка Бурстином роли Национальной гвардии и армейских частей в поворотных событиях 1793–1794 гг. (например, в перевороте 31 мая – 2 июня 1793 г.). По нашему мнению, активное участие граждан в политической жизни не прекратилось ни в прериале, ни в жерминале III года, а восстание парижских секций в вандемьере IV года и активное голосование на выборах в жерминале V года свидетельствовали об устойчивых протестных настроениях в обществе и высоком интересе к политике.

Сказанное здесь призвано не девальвировать ценность тех или иных постулатов выдающегося историка, но, скорее, придать дополнительную актуальность затронутым им в монографии темам и еще раз напомнить о том, что в историографии Французской революции за два столетия ее развития нет и, вероятно, не появится окончательных и неоспоримых выводов, независимо от того, кто бы ни являлся их автором.

Список литературы

Бовыкин Д.Ю. 13 вандемьера: кто виноват? // Французский ежегодник 2006. М., 2006. С. 80–129 [Bovykin D.Yu. 13 Vendemiaire: kto vinovat? // *Annuaire d'études françaises* 2006. М., 2006 S. 80–129].

Чудинов А.В. С кем воевал русский мужик в 1812 году? Образ врага в массовом сознании // Французский ежегодник 2012. 200-летний юбилей Отечественной войны 1812 года. М., 2012. С. 336–365. [Tchoudinov A.V. S kem voeval russkiy muz'ik v 1812 godu? Obraz vruga v massovom soznanii // *Annuaire d'études françaises* 2012. М., 2012. S. 336–365].

Burstin H. Le faubourg Saint-Marcel à l'époque révolutionnaire: structure économique et composition sociale. P., 1983.

Burstin H. La politica alla prova. Appunti sulla rivoluzione francese. Milano, 1989.

Burstin H. Rivoluzione Francese. La forza delle idee e la forza delle cose. Milano, 1990.

Burstin H. Une révolution à l'oeuvre: le faubourg Saint-Marcel (1789–1794). Seyssel, 2005.

Burstin H. L'invention du sans-culotte. Regard sur Paris révolutionnaire. P., 2005.

Gainot B., Aberdam S. Voter, élire pendant la Révolution française, 1789–1799: guide pour la recherche. P., 2006.

Gueniffey P. Le nombre et la raison: La Révolution française et les élections. P., 1993.

Guenniffey P. Histoires de la Révolution et de l'Empire. P., 2011.

Hunt L. Politics, Culture, and Class in the French Revolution. Berkeley, 1984.